

# О БУНИНЪ

В творческом «духе» Бунина есть одно достойное внимания обстоятельство: это единственный из настоящих писателей пост-чеховского поколения, оставивший в полном чуждом и даже враждебном ему позднее — романтическому выхри, который процесс в нашей литературе в последние четверть века и который был назван декадентством, модернизмом и многими другими, столь же условными именами.

Бунин сам неоднократно вспоминает, что Брюсов как то сказал о нем: «Бунин, хотя и не символист, но все-таки настоящий поэт».

Эти «хоты» и «все-таки» казались ему довольно уместны. Но по Брюсовски относился к нему вся та группа русского искусства, которая в двадцать пять годов обиделась вокруг «Мира Искусства», «Скорпиона» и впоследствии «Всесоюз», начала борьбу за власть и влияние и в скором времени этой борьбе победительницей. Как всегда в искусстве, она была ветеринар. Ей казались отсталыми все, что не содействовало ей. Надо быть справедливыми: основания к этому у декадентства были.

Еще и теперь, читая Брюсовские произведения к его ранним сборникам или статьи в «Мире Искусства», нельзя не поддаться очарованию: действительно кажется, что это были коротко-прельмирующие годы каких-то безотчетных надежд, безотчетных предчувствий, действительное ощущение головокружения и переполнения, дышания у людей, вдруг замкнувшись традиция «общественности» и «борьбы за идеалы» черепашьими всемирными и лично — человеческими. И сознание это не уничтожается даже тем, что сейчас мы помним модернистские сдвиги, что мы знаем, как путь к успеху оказался его вырвипи и как было неслабо.

Есть какое-то величие в этом общении и недержимом устремлении к «постыдливой тайне» на переломе двух столетий, в переключении десятков друг от друга головок, как есть грандиозная поэзия во восходящем строителя Солнца на башню, — зловещий, восторг, и грубый образ.

На современников все это должно было действовать неотражно.

Я думаю, что Брюсовское замечание «хоты и не символист» не столько отражало литературно — партийную уместность, сколько потребность перед раздувающим поветом к меридионам ему персональности.

По прошло четверть века. Все стало прахом, что казалось небывальными художественными открытиями, и только то удивило и бесмертно, что — как «События» — сорбито и спасено внутренним жаром, как бы мотыжущим ферму, всегда полярным и всегда разрывным. Формы же выдуманные ради их самих, оказались явным мертворожденными и погребены под своей пылью «остатки мысли и обломки чувства».

Писать мы будем все — так как Лев Толстой, а не как Леонид Андреев.

Нельзя ринуть, сказавшись на том, что Бунин остался в надменном и тревожном одиночестве среди разгула модернистского искусства или недостатка писательности. Я опять повторю: не один лишь слабая голова вскружило декадентство. Но теперь мы можем быть горды своей непоколебимостью. Его проза, даже самые «буйные»

годы, ничего не потеряла в своей свежести. В ней почему стареть. Его стихи, если даже помнить об их связи с Маяковским и Голенищевым, с эпохой охуливания поэзии, все таки лучше стихов почти всех его сверстников, именно благодаря отсутствию всяких «запованый»; они проще, суше, точнее, приятнее.

Бунин упрекает в банальности критиков, нашедших в его даровании «что-то тургеневское, что-то чеховское». На Чехова он действительно похож мало. Тургенев же иногда напоминает больше, чем какой-либо другой из наших писателей: есть «что-то тургеневское» в этом смещении повествования, в описании охоты, самовара и бебды о земстве, с русским «алистством», чуть — чуть брегалиным. От Тургенева же у Бунина и любовь к вещи, всегда стройная и ясная ее композиция.

Мастерство художника есть не что иное, как умение сказать именно то, что хотеть сказать, — то, что представлялось в спокойные часы обдумывания, а не случайно отлегло в мыслях. Пропа Бунина — образец настоящего мастера. Ему всегда удается осуществить замысел. Порой он даже увлекается своим умением и как бы переругает свои произведения достоинствами: таковы знаменитый рассказ о «Господином из Сан-Франциско», почти мертвенный в своем совершенстве. Но чаще он с неистощимым разнообразием играет им, оставаясь неподвластным ни одним куску, дорисовывая до мельчайших деталей другие.

Есть у Бунина короткий рассказ «Грамматика любви». Тема его не нова. При беглом чтении он может показаться искусной стилизацией, проза картинно во вкус 30-х годов. Но это одно из удивительнейших созданий русской прозы, печальное, живое и блестящее.

Теперь в модь критические статьи на тему «как сдана» такая-то вещь. «Грамматика любви» дала бы много материала для такой работы.

О прекрасном языке Бунина много писали. По этому поводу я позволю себе раз вспомнить имя Тургенева. Как Тургенев, Бунин чувствует равновесие в прозе творческой: он знает, что язык, как бы богат он ни был, не должен быть развит в ущерб композиции и замыслу, не должен вылезать из текста и вылезать не должно затмевать прелесть человека.

Прекрасный язык Бунина никогда не отяжеляет его писанин, не «завешивает» его. Не на нем Бунин выжидает. У нас не так давно был канонизирован в «великие писатели» Лсков и даже считалось хорошим литературным тоном восхвалять им, причем всегда подчеркивая его язык. В этом, как и в увлечении лсковскими оптимизмами, сказавшаяся настоящая болельщеская и выжидательная сторона дарования еще не «добрая писателя». Эта односторонность только ринительские подчеркивает незначительность дарования. Что есть в Лскове великого и что такое его язык по сравнению с развитым языком Тургенева, не говоря уж о Толстом? В «Дядя Ваня», ка-

жется, кто то замечает, что если у писателя выходящие удивительные глаза или волосы, то она навряд ли красна. Едва ли все благополучно и у писателя, которого настойчиво превозносят за «удивительный» язык.

Бунин был признан в России знатоком народа и его жизни. Он безразличный, — хотелось бы сказать, беспощадный, — его изобразитель. Его творчество могло бы служить иллю-

страцией писем Чаадаева. Если опь сам и отрицает это, то это едва ли кого побудит переубедить.

Тот читатель, который любит, закрыв книгу, задуматься о ней, иногда даже забыв детали ее содержания, найдется в повестях Бунина много ниши.

Что найдут в нем иностранцы, которые стали в последнее время усиленно переносить Бунина? Опь их вбродно не поразит, как вообще не поражает их все наиболее русское и лучшее из русского.

Георгий Адамович.

## СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСКИ

Восемнадцатая, недавно вышедшая книга «Современных Записок» побудила в литературной среде большой интерес, точнее — волнение и даже возмущение. Вной тому статья Антона Крайнего — «Литературная запись. Поэт в Европу». Она вызвала уже протест С. Юшкевича в «Послѣднихъ Новостяхъ», объяснения редакции «Современныхъ Записокъ», и самого автора, Антона Крайнего, примечание редакции «Послѣднихъ Новостей».

Приняв, и не могу раздѣлить охватившаго многих возмущения, хотя и понимаю причины его. Въ статьѣ Антона Крайнего есть много цѣннаго, интереснаго, но сожалѣнію выраженнаго раздраженнаго тономъ.

Необходимо въ статьѣ вывести за скобки лишнія мнѣнія Антона Крайнего, иначе выражалось — личные «вкусны», основанные, впрочем, на катехизисе то «иррациональныхъ» сдвѣговъ и антипатіяхъ, спорить съ которыми невозможно; и каждая изъ насъ свои «иррациональныя» и «отчаяныя». Антонъ Крайнему Горькому, автору гениальнаго на мой взглядъ «Дѣтства», противопоставляетъ Арцыбашева, «У послѣдней черты», котораго представляется мнѣ предельной въ русской литературѣ пошлостью.

Но, право-же, все это не имѣетъ большаго значенія по сравнению съ тѣмъ общими критическимъ русскаго литературнаго творчества, котораго статья Антона Крайнего — и въ этомъ я вижу его значеніе — опредѣленно даетъ почувствовать, быть можетъ и не желая вовсе этого: вѣдь основная мысль «Литературной записки» за именемъ, что русская литература вся въ Европѣ, вся въ эмиграціи.

Примемъ, покажемъ, эту точку зрѣнія. Что же? Результаты извѣстны. Антонъ Крайний самъ печальны, хотя он и старается быть любезнымъ съ товарищами по эмиграціи: если выдѣлать Бунина, къ которому я присоединилъ еще отъ себя Ремизова, остальные для за — все, какъ Куркинъ, или померзаетъ себя, какъ Зайцевъ, или занимаются публицистикой, какъ Арцыбашевъ, или, наконецъ, подобно Шмелеву, не въ силахъ себя оформить и овладѣть потокомъ своихъ чувствъ.

Книжка «Современныхъ Записокъ» не свидѣтельствуетъ развѣ о томъ же? Вѣдь лучшими безразлическимъ произведеніемъ за послѣдніе мѣсяцы были публицистическіе очерки Миндлова, а художественный уровень восемнадцатой книжки поднималъ лишь пресловутый рассказъ «Нерочная Весна» Бунина, единственнаго нашего писателя «художника» въ Западной, Европейской значимости этого термина: вѣдь есть искусство, т. е. оборотъ и «сбораніе» (какъ выражается Антонъ Крайний), у Зайцева же (продолженіе «Золотого узора») — лишь дивность; у Стенуна («Нераслѣтныя»

«умная» и «тонкая» чувства.

Но действительно ли вся русская литература «выплеснута» въ Европу? Неужели въ самой Россіи нѣтъ ничего кромѣ Исконнаго, Луначарскаго и разныхъ «неприспособныхъ гадюкъ?»

Вотъ въ этомъ мѣхъ кажется, главная ошибка Антона Крайнего, ошибка впрочемъ навѣстительная: подобно всемъ почти эмигрантамъ, онъ не чувствуетъ, онъ не понимаетъ того, что происходитъ сейчасъ въ Россіи, чуть больше нѣтъ.

Смѣшно, конечно, было бы преувеличивать значеніе Пильняка или Серапионовцевъ, а все же, я думаю, если когда нибудь вернется домой писатель эмигрантъ, придется имъ признать, что русская литература была не жила не только въ Прагѣ, въ Берлинѣ, въ Парижѣ, а также и въ Петербургѣ и Москвѣ.

Изъ теоретическихъ статей помѣщеныхъ въ 18-ой книжкѣ отбѣчу на первую часть «Общественности и идеологии» С. В. Лурье, гдѣ дана въ сжатой формѣ критика той преувеличенной вѣры въ значеніе палеонтологическихъ построекъ, которой и теперь еще страдаетъ въ эмиграціи русская интеллигенція. И названный политическій рационализмъ ототъ, мѣтко указываетъ авторъ «однако присущъ былъ славнопримѣстному... и неслыханному шестидесяти годовъ... общественнымъ теченіямъ восемидесяти годовъ... и тѣмъ, которыя владѣли умомъ до великой катастрофы». Произошла сдвѣга идей, но не измѣнилась преобладающая въ насъ идея и вопросъ всегда состоялъ въ томъ, чтобы выработать правильныя, «хорошія» идеи, послѣ чего все устроится.

Эта справедливая и мѣткая въ самыхъ подробностяхъ критика критика приводитъ, однако, автора къ такимъ общимъ, теоретическимъ положеніямъ, съ которыми трудно согласиться: возсталъ противъ названнаго рационализма русской интеллигенціи, онъ въ концѣ концовъ отрицалъ за философій, за сознаниемъ культуры всякое влияніе на жизнь, на культуру, культурное строительство и идеологию иррационалистическую, которую онъ считаетъ «одна другую действительность»: «намъ нужны не идеи, которыя родились бы насъ своимъ единствомъ, гармоніей и логическимъ совершенствомъ, а реальныя интересы, которые связаны бы насъ съ культурной жизнью... И дальше: «для того чтобы интеллигенція стала живыми и дѣятельными органомъ народнаго дѣла, необходимо, чтобы культура стала для насъ не высшее самоцѣльное цѣлью, а неискоренимому органическому потребностямъ».

Развѣ одно исключаетъ другое?

С. В. Лурье согласенъ принять упрекъ въ томъ, что онъ проповѣдуетъ духовное мѣштанство, «ибо что такое культура безъ оправдательныхъ документовъ абсолютнаго достоинства, какъ не мѣштанство?... Но что же дѣлать, — эта carpitis

diminutio namъ необходима для того, чтобы выйти изъ подъ развалинъ и придать ужасающей хаосу нашей личной и общественной жизни... Мѣштанское накопленіе силъ является для насъ социальнымъ долгомъ».

Быть можетъ я ошибаюсь, но въ блестящей статьѣ Лурье, въ этой горячей проповѣди практицизма и компромиса реализма я увидала какіе то отзвуки ископаема, необходимаго русскаго, максимализма: все или ничего!

Судя, однако по той же статьѣ, если въ эмиграціи мы еще страдаемъ излупленной вѣрой въ идеи, въ Россіи пародается новал интеллигенція практичесской, американской складки, отнюдь не удающаяся въ леченіи мѣштанствъ. Но С. В. Лурье, впрочемъ, самъ видитъ опасность, которую таитъ въ себѣ это перерожденіе интеллигенціи: прежняя ин-

теллигенція «создала величайшее достиженіе Россіи — ея духовную культуру. Новая интеллигенція... окажется чуждой по духу тому, что составляло духовную мощь страны».

Въ шестой статьѣ своей «Путь Россіи» И. И. Бунинъ рассказываетъ намъ о Битвѣ. Чрезвычайно богаты фактическимъ матеріаломъ статьи М. В. Вишняка — «Паденіе русскаго абсолютизма», гдѣ кое что можетъ послужить интересной иллюстраціей въ статьѣ Лурье. Изъ рѣзкой отбѣчу замѣчу: Стенуна о новомъ романѣ Сергѣева-Щенскаго — «Преображеніе» («Если весь романъ будетъ осиленъ на уровнѣ начала, то «Преображеніе» войдетъ въ по-вышшую русскую литературу однимъ изъ ее самыхъ значительныхъ явленій»), Микотина, Киселевтера — и П. Прокофьева. Б. Шлееръ.

## ТЕОФИЛО БРАГА

28-го января въ Лиссабонѣ скончался одинъ изъ самыхъ выдающихся португальскихъ писателей второй половины XIX-го столѣтія — Теофило Брага. Въ 1908 году онъ праздновалъ полувековую юбилей своей литературной дѣятельности и такимъ образомъ не дожидаясь только четверть лѣтъ до юбилея 70-лѣтія. А какъ разъ послѣ 1908 г. его биографія обогатилась новыми фактами, связанными его имя съ именами далеко за предѣлами Португаліи. 5-го октября 1910 года Т. Брага сталъ во главѣ пераго республиканскаго правительства и провелъ въ жизнь реформы, которыя способствовали укрѣпленію новаго строя.

Въ лицѣ покойнаго Португаліи лишился безспорно одного изъ самыхъ замѣчательныхъ своихъ гражданъ. Нѣтъ, кажется, ни одной области человеческой мысли, которой не коснулся бы перо Браги. Опь былъ поетомъ — лирикомъ и поетомъ — философомъ, историкомъ литературы, историкомъ права, социологомъ, публицистомъ.

Смерть застала его за работой надъ историческимъ романомъ, надъ послѣднимъ томомъ его «Исторіи португальской литературы» и надъ пересмотромъ книги о Камойниш. Едва ли оправдался слогъ одного изъ его папегристовъ, завлывшаго, что «завтра, можетъ быть, XIX-ый вѣкъ назовутъ вѣкомъ Браги»: но не подлежитъ сомнѣнію, что дѣятельность Браги и его личность заслуживаютъ самаго искренняго уваженія, не только на родинѣ, но и за границей.

Т. Брага родился въ 1843 г. на Азорскихъ островахъ, и уже въ 1858 г. выступилъ въ свѣтъ своею перваю книжкою стиховъ — «Зеленые Листья», и за вскорѣ послѣдовавшия другіе сборники лирическихъ стихотвореній. Еще на университетскій ступень опь задумываетъ грандиозную циклическую эпопею «Видные времена» (1864), которая должна была охватить исторію всего человечества. Цѣлью Браги было замѣнить однообразную, сплывающую лирику португальскихъ романтиковъ новыми поэтическими темами. Поколение, къ которому принадлежалъ Брага, неожиданно «открыло Европу»; кумиромъ молодежи былъ В. Гюго и, конечно, 20-лѣтній поэтъ хотѣлъ своей эпопеей затмить «Легенду Вѣковъ»; во рядкомъ съ Гюго впадалъ умами Ренанъ, Мишле, О. Контъ, послѣдствителемъ котораго и сталъ Брага. Тѣ же 60-ые годы принесли съ собою вольнолюбивыя мысли, особенно окрившія въ 1870 году подъ вліяніемъ событий во Франціи и Испаніи: и съ этого времени до конца жизни Т. Брага оставался

убѣжденнымъ республиканцемъ.

Но на первыхъ порахъ оппозиціонный духъ молодого студента былъ выражень противъ традиціи въ литературномъ царствѣ. Это опь, вѣдь за поетомъ Антониу де-Кенталь, началъ походъ противъ того, что опь называлъ «литературной теоріей» (1865), противъ господства третьестепенныхъ писателей, не дававшихъ хода молодежи и установившихъ нечто въ родѣ круговой поруки («Школа взаимнаго словословія, или дурино ружья», какъ называли ихъ борцы за новыя идеалы). Эта кампанія сильно поколебала авторитетъ главнаго «литературнаго теоретика» А. Каштиля и положила начало расцвѣту португальской литературы, въ теченіе послѣднихъ трехъ десятилѣтій прошлаго вѣка; имя Браги неразрывно связано съ этимъ периодомъ обновленія.

Правда, его поэтическое даръ, несомненно и несомненно оживить созданный имъ громадный поэмъ (съ 1902 опь началъ печатать новую часть: «Португальская душа»); его нерифмованные стихи часто смахиваютъ на прозу. И не какъ оригинальный поэтъ, а какъ толкователь и издатель чужихъ произведеній, заслуживаетъ опь наибольшаго вниманія.

Еще въ бытность студентомъ Коимбрскаго университета Брага издалъ несколько сборниковъ народныхъ пѣсенъ, а съ 1870г. принимается за 32-томную «Исторію португальской литературы». Опь продолжаетъ свои изысканія, какъ профессоръ Лиссабонскаго университета, неустанно собирая, принося въ порядокъ неизданныя, или забытые матеріалы, подготавливая для будущихъ издательствъ болѣе удобныя условія работы. По образованію юристъ, опь, къ сожалѣнію, самъ не прошелъ хорошей филологической школы, а непримиримый логикомъ порождалъ въ немъ нетерпимость къ чужимъ мнѣніямъ; къ тому же ему не хватало литературнаго чутья для строгаго и асаго расположенія собраннаго имъ громаднаго матеріала. Поэтому томы его «Исторіи литературы» хитовиты; а теоретическія построения, до крайности отвлеченныя и отрывающія отъ фактовъ, часто оказываются малоубѣдительными. Наиболѣе цѣнными работами въ этой области можно считать книги Т. Браги о национальномъ поэтѣ Португаліи Л. Камойнишъ, «Исторію португальскаго театра» и нѣкоторыя другія.

Какъ указано, интересъ Браги не ограничивался одной литературой. Опь авторъ «Всеобщей исторіи» (1879-81), «Исторіи Коимбрскаго Университета»

## ВЪЧНО БОДРСТВУЮЩЕ

### Встрѣчи съ евреями

1.

Когда ребенокъ я читалъ Евангеліе, помню, меня особенно поразила притча о мудрыхъ и неразумныхъ дѣвахъ. Маленькая неосторожность, а въ-за нея невозможность войти къ Жениху на брачныя вѣра. Слова «Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа...» показались мнѣ жутко — пропитанными, и она запала въ дѣтскую душу глубоко. Съ дѣтской серьезностью и принявъ рѣшеніе — всегда думать неотступно о томъ, чего хочешь, чтобъ желанное, пріятнѣе, въ какой часъ не могло застать меня врасплохъ.

Юношей читалъ я Коранъ, и меня воспитали и поразили отъ этого замѣчательный стихъ:

О, пророкъ, заснувшій въ плащѣ своей,  
Стоя на молитвѣ всю ночь...

Ведь-ли ночь, или полуночь или еще болѣе поздняя, только помнить всегда, что Высшее Ого, которое не дремлетъ никогда, тебя видитъ. Бодрствуй и помни.

Мало по малу умножались жизненные опыты, углублялось наблюденіе, уточнялось знаніе міра и людей. Мнѣ стало ясно, что въбъ людей, къ какому бы разряду ни принадлежали они, можно и должно раздѣлять на двѣ огромныя томы, на двѣ точныя разностиности. Есть люди бодрствующіе и люди дремотные, люди неспящие и люди сонные.

Бодрствующій человекъ можетъ и ве-

нуть, и спать крѣпко, да вдругъ проснется, когда это нужно. Человѣкъ сонный, человекъ дремотный, не можетъ проснуться вовремя — никогда. Опь спитъ, когда спитъ, и спитъ, когда не спитъ. Дрема владѣетъ имъ, и медлительныя его движенія, неадекватныя его предпріятіямъ, вершительнаго его духа. Человѣкъ бодрствующій смотритъ зорко, терпеливо не скоро, или не терпится никогда, знаетъ, что въ его аилахъ течетъ горячая кровь, которая умѣетъ хотѣть и достигать, знаетъ, что глазъ человеческій можетъ смотреть далеко, чувствуетъ, что есть Ныло, зовущее душу горѣть и быть крѣпкой, не примиряясь съ действительностью, когда хочется действительности иной. Вѣдь действительность ведетъ къ дѣйствию, а повторность дѣйствій видоизмѣняетъ действительность. Только слышишь и помни свой изурванный голосъ. Только знай, что твоя душа едина съ чѣмъ-то высшимъ, чѣмъ ты терпѣшии. Только помни, что есть горящій кусти, который не гаснетъ, и извѣщавша на молнегромной горѣ священныя табличы, на которыхъ душою человеческое дыханіе, и вотъ оно извѣщалось, дыханіе жизни, въ словахъ повѣщающихъ, на тысячу и тысячу лѣтъ.

Мнѣ въ жизни случалось видѣть бодрствующихъ людей довольно, и я ихъ люблю.

2.

Первыя три встрѣчи мои съ Евреями

произошли въ мой юности, въ обстановкѣ все три раза перемѣнившейся и радостной, все три въ первый зарыпанъ мое душевное влеченіе къ Евреямъ, а встрѣчи позитивныя лишь подтверждали первое впечатлѣніе.

Вспоминаю мой родной городокъ Шуя, Владимірскаго губерніи. Городъ фабричный и достаточно грубый. Мнѣ шестнадцатъ лѣтъ. Мой товарищъ по гимназіи, коллеже меня класса на два, сарей В., приглашаетъ меня разъ къ себѣ чай пить. Это было лѣтомъ въ воскресный день. Отецъ моего товарища былъ лехенскій чиновникъ. И въ первый разъ былъ въ еврейской домѣ, и меня поразило, какъ дружна была вся эта семья, состоявшая изъ ибелювскихъ старухъ и совѣмъ юныхъ людей, лицами своими столь неподходящими на все окружающее и удивившими мою мысль куда-то далеко, въ страны, гдѣ Солнце горячѣе и гдѣ у людей поэтому больше яркости и живости въ движеніяхъ. Мнѣ нравились чисто — восточная, я сказалъ бы теперь правная, преувеличенность любезности и хлѣбосообразнаго радушія хозяевъ, которые въ компаніяхъ совѣмъ скромныхъ и даже скудныхъ, угощали меня такъ, какъ если бы они не въ городѣ, а въ извѣстномъ знатномъ домѣ. Старухамъ мнѣ старалась, чтобы я съѣлъ вѣдъ печенія, которыя были на столѣ, и подкладывая мнѣ столько сахара въ каждый стаканъ, что покажу и шипъ не чай, а сиропъ. Въ то время какъ мы наслаждались угощеніемъ и мирной бесѣдой, мои пазвизки оконъ домака проща атака нетерпимыхъ людей, какихъ въ Русскихъ городкахъ бываетъ довольно и въ преддверіе дни, и въ будни. Два-три озорника, заглядывая въ окна, крикнули гадное оскорбленіе, а одинъ протестъ свою пошлость до того, что выпрыгнулъ въ закрытое

окно камень. Небольшой былъ камень и пестрля былъ опь брошенъ, но жалко влинуло стекло, и валь покой, грубо и несправедливо, былъ нарушенъ. И я, и мой мзадній товарищъ, оба возлупузъ гнѣвомъ, вскочили и устремились къ выходу. Но старухъ — хозяйнн, болѣзненно моргая своими печальными глазами, остановилъ насъ, говоря: «Не надо. Не надо. Мы смущенные вернулись къ столу. Хозяйка съ удвоенной любезностью стала угощать меня. А юная дѣвушка, сестра моего товарища, преувеличенно-спокойнымъ голосомъ, но медленно, какъ будто она не говорила, а поднимала смилкомъ большую тяжесть, сказала, обращаясь ко мнѣ: «Это оно потому такъ, что мы Евреи». О, какъ много словъ, столько мнѣ сказали тогда этой дѣвушкѣ. Я не сумѣлъ ихъ сказать, и не знаю, сумѣлъ-ли бы теперь. И могу только сказать, что вотъ, черезъ столько десятилѣтій, все, что есть свѣтлаго въ моей душѣ, устремляется къ ея образу ласку и прѣ-

Тотъ скудный часовщикъ маленькаго городка, жившій въ самой скромной обстановкѣ, всю жизнь наклонявъ свои глаза надъ часовымъ механизмомъ, до дѣхъ поръ что опь покусалъ опіе глаза не закрылись совѣтъ. Что опь читали въ сочетаніяхъ этихъ мальхъ колесиковъ и зубцовъ? Должно быть что-то хорошее и великодушное, потому что самъ проведя свою жизнь въ скудости, онъ далъ возможность одному своему сыну стать врачомъ, а другому писателемъ.

3.

Вторая моя встрѣча съ запомнившимся мнѣ лицомъ изъ Еврейскаго міра произошла въ томъ же моемъ родномъ городкѣ, гдѣ кстати, сколько я припомню,

никогда среди жителей не было предубѣденно — отрицательнаго отношенія къ Евреямъ, что дѣлаетъ, быть можетъ, только что мною рассказанное еще болѣе тягостнымъ. У меня заболѣли глаза отъ непомятаго чтенія. Жилъ въ Москвѣ денегъ у меня не было, а глазаго врачъ въ моемъ городкѣ не имѣлось. Кто-то сказалъ мнѣ: «Пойдите къ еврейскому врачу, онъ хороший и понимаетъ въ языкахъ болѣвняхъ». Я пошелъ къ еврейскому врачу, — болѣе не помню въ сожалѣніи его фамилію. Опь жилъ въ духѣ маленькихъ комнаткахъ, а болѣвхъ у него каждый день бывало столько, что, ожидая очереди, опь толпился у входа въ домишко, гдѣ опь жилъ. Опь скоро вышлѣтъ мой глаза, во, когда я спросилъ его, сколько я ему долженъ, онъ сказалъ: «Ничего». Располагая небольшими средствами, позволившими ему быть сытымъ и одѣтымъ и жить въ квартирѣ, за которую онъ платилъ пятнадцать рублей въ мѣсяцъ, онъ всѣхъ болѣвхъ, которые къ нему приходили, дѣлалъ даромъ. Мнѣ рассказвалъ опь о немъ. И сталъ настаивать, что я хоту, чтобы опь съ меня ваялъ что — нибудь за свой трудъ, потому что я — изъ семьи, хотъ и не очень богатой, но зажиточной. Лицо врача вѣдалось трогательное — строгимъ и выражая опущеніе той отвѣтственности человека передъ самимъ собой, которое всегда дѣлаетъ человеческіе глаза красными глазами внутри себя. «Нѣтъ», сказалъ опь тахкимъ и твердымъ голосомъ. «Выгадору васъ, но, когда вы мѣя приходите болѣной, я долженъ ему помочь безвозмездно. Это путникъ въ бѣдѣ, котораго приходится въ мой домъ».

Я видѣлся еще нѣсколько разъ съ этимъ лѣтнимъ и удивительнымъ мальчикомъ, чтобы вѣчно въ чуждомъ чуждому чуждомъ и часомъ...

торое время спустя, онъ уѣхалъ изъ нашего города, и я не знаю о немъ болѣе ничего.

Но не поспѣваетъ-ли намъ Судьба, иногда, болѣе глазъ или болѣе сердца для того, чтобы мы узнали, что, когда мы духовно сиимъ своимъ обѣщаннымъ, есть въ мнѣ бодрствующія?

4.

Насегда незабвенной и прекраснѣйшей была тропка моя встрѣчи съ лицомъ изъ Еврейскаго міра, ибо лицо это было безсмертное лицо Юва.

Я только что кончилъ гимназію и, исполненный самыхъ гордыхъ замысловъ и сложныхъ размышленій о Мирѣ и Судьбѣ, мечталъ о томъ, что, если досеѣя никто не разгадалъ, какъ съдѣлать всѣхъ людей счастливыми, почему бы эту загадку не могъ разгадать я?

Среди множества книгъ, которыя я ненасытно поглощалъ, съ большимъ увлеченіемъ я читалъ, казавшуся мнѣ вдохновенной, книгу Карлейля «Герои и героическое въ исторіи». Увлеченнымъ казался мнѣ Карлейль и заманчивымъ его разсужденія. Тѣмъ страннѣй и неожиданнымъ прозвучала для меня одна егд строка, гдѣ опь говоритъ, что книга Юва — лучшая изъ книгъ, написанныхъ на Землѣ. До этого я едва зналъ Библію и не чувствовалъ къ ней влеченія. Совѣмъ други книги впадалъ мнѣ въ вниманіе. Давно уже узнавъ, многа, почти всѣ, вершинныя достиженія родной культуры всенной съкровенности, я былъ лодъ осе бытъ гингомъ, отдаленнымъ образцовъ литературы мировой, какъ «Фантазія» Гете, «Мадригаль» Байрона, «Слабога» Ш. «Фуръ» Шенкеля, «Самъ» Калле...

Юва Карлейль, ии чудномъ книгѣ ии...